

СУДЬБОНОСНЫЙ СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ

Десятилетиями хранил я в памяти имя Виктора Васильевича Афанасьева. На знаменитые слова Вейдле «Россия не удалась» мысленно возражал: у этой страны *есть* надежда, пока жив такой человек. Есть в России 36 праведников, подвижников культуры и совести; на них она держится в самые отвратительные свои времена.

Прошли десятилетия, и я спросил себя: на чём держится это моё впечатление? Не на лести ли, случаем, я клюнул в ту пору? Человек слаб. Как не любить того, кто тебя хвалит? А меня это Афанасьев хвалил так, что даже я тогдашний, самонадеянный и амбициозный в 1972 году, принимал его слова с оговоркой.

Между мною и праведником случился эпистолярный роман, длившийся около года.

1. «ПРИМИТЕ НЕВСКИЙ АЛЬМАНАХ»

В начале октября 1972 года звонят мне из ленинградского союза писателей и говорят странные слова: приехал, дескать, человек из московского издательства, редактор нового, только ещё затеваемого в Москве альманаха; неделю просидел в Доме писателя; просмотрел ворох пылившихся там рукописей молодых ленинградских поэтов, из всего этого вороха выделил вас, — и не может нахвалиться; обещает напечатать в Москве; приезжайте знакомиться.

Среди «молодых ленинградских поэтов», пылившихся в Шереметевском дворце (улица Воинова дом 18), авторов действительно молодых не было. Помню двух или трех годом или двумя моложе меня, а мне стукнуло двадцать шесть. Большинству было под тридцать, иным шёл четвёртый десяток, кому-то и пятый. Молодыми мы числились потому, что в те беспросветные годы, в том беспросветном, забытом Богом месте люди вообще выросли очень поздно, в литературе же — и подавно. Не все из покрытых пылью авторов были безвестны, иным выпало подобие признания из-под прилавка: в самиздате. Из моего поколения назову Виктора Кривулина, Елену Шварц, Елену Игнатову, Олега Охупкина, Ольгу Бешенковскую. Назвал бы и Бродского, хоть он шестью годами старше меня, а поколение в литературе — десять лет. Не называю потому, что выросл он, не в пример прочим, очень быстро и естественным образом

вписался в поколение, нам предшествовавшее. И ещё потому не называю, что его рукописи, недавно лежавшие в общей для всех нас пыли, в октябре 1972 года уже там не лежали; Бродский эмигрировал за четыре месяца до звонка из Шереметевского дворца и, понятно, перестал существовать для советской литературы.

Звонок из союза писателей потому был странным, что в печать пускали только членов союза писателей, а из нечленов, из «молодых», — лишь откровенных приспособленцев да «социально близких» бездарностей из простонародья, и то — гомеопатическими дозами. На дворе стоял глухая безрассветная тьма, в умах и в душах царил мёртвый штиль. Кремлёвские большевики, умственно застрявшие в XIX веке, как огня боялись печатного слова, сажали в тюрьму за метафору. По той же умственной заторможенности литература всё ещё была для всех вокруг магически притягательна, а самими сочинителями, вдобавок к этому, понималась как жреческое служение, как возжигание фимиама перед фетишем Великой Русской Литературы, перед алтарем вечности. В результате сотни авторов писали в стол, без всякой надежды на пресс Гутенберга при жизни, но с твёрдой верой в посмертную славу.

Понятно, что в нашем братстве катакомб, в этой коммуне отверженных, где все были равны перед большевистским кукишем, — одни, как водится, были ровнее других, и не по признаку одаренности. Из крохотных твои шансы напечататься становились эфемерными, если твоя, «молодого автора», фамилия звучала не совсем по-русски, тревожила ухо Малуты Скуратова из обкома, могла заронить в душу русского Гутенберга подозрение, что ты еврей. А уж с моей-то фамилией, с фамилией Колкер, какие подозрения! Тут прямая уверенность. Советская власть, сверху до низу пронизанная ложью, по этому пункту изолгалась больше всего. Антисемитизм был ею громогласно и повсеместно осуждён, но втайне поощряем. От Москвы до самых до окраин шло круговое перемигивание между властью и народом: нечего еврею делать в русской культуре, особенно же в русской словесности.

Как в таком климате я попал в молодые поэты? Чудом. Не благодаря таланту. Стихи — не шахматы и не физика. Талант стихотворца на весы не положишь. У тех, кто судит и решает, никакого критерия нет, потому что стихов эти люди не понимают. У антисемита эта трудность усугубляется тем, что антисемит всегда глуп.

Но ситуация в Ленинграде 1970-х сложилась для начальства пренеприятная. Среди пишущих стихи без поощрения сверху, от душевной потребности, люди с неудобными фамилиями составляли около сорока процентов. (Эту цифру беру из сборника *Острова* (1982), антологии неподцензурной ленинградской поэзии за тридцать лет, где собрано восемьдесят авторов.) Непризнанные авторы с неудобными фамилиями не все были евреи, встречались полукровки, попадались эстонцы и немцы, а очень многие евреи были выкрестами и тем самым уже не евреями, — но для радетеля чистоты все они были плохи. Между тем делать что-то приходилось, полагалось «работать с молодыми»; непечатные авторы стали явлением, самиздат рос как на дрожжах, появился тамиздат (публикации за рубежом). И вот бедный антисемит поневоле уступал самым упорным, самым плодовитым людям с неприятными фамилиями, а из них выбирал наименьшее зло. Я и оказался наименьшим злом. Я отстаивал традиционный стих и точную рифму, на дух не переносил авангарда, пуще того: называл себя консерватором, что решительно всех изумляло, потому что — по господствовавшему предрассудку — все тогдашние авторы непременно хотели быть новаторами.

Тут зарыта ещё одна собака, спрятан ещё один кукиш: в те застойные времена все, не исключая и самых держиморд, верили в революционную поэзию. Самые замшелые коммунисты опасались, что с литературным авангардом связанная какая-то важная правда. Жупел новизны дразнил и пугал бедных невежд. Талант, по тогдашнему суевию, должен был непременно быть нов, как-то особенно неожидан... А Колкер всюду твердит, что сознательный поиск новизны — глупость. Отчего не пустить такого? Он не опасен. Он в Маршаки не лезет. Всегда есть маленькие евреи, работающие на заднем дворе великой русской литературы. Пусть их работают. Кто-то должен быть в услужении.

И вот тут-то является Виктор Афанасьев и говорит мне: «вы — сложившийся мастер». Является из-под сени большевистского Кремля, где начальство и деньги. Является в Ленинград, где начинающий автор обречён на вымирание. Ни в одном углу необъятной Страны Советов писателю не жилось хуже, чем в Ленинграде. Нигде в мире — да-да, в мире, — не наблюдалось такой концентрации невостребованных, безработных гуманитариев, напрочь оторванных от Гутенберга... И кому Афанасьев это говорит? Человеку «с еврейской фамилией»... Тут задумаешься.

О Ленинграде, в ту пору готовом взорваться, как паровой котел, от переизбытка неизданных рукописей, стоит ещё два слова сказать, — потому что никто этих двух слов по сей день ещё не сказал. Всеми признано, что сталинские репрессии ударили по Ленинграду сильнее, чем по всем прочим городам и весям; часто отмечают, что большевистская Москва со времен «ленинградской оппозиции Зиновьева и Крупской» держала Ленинград в чёрном теле, принижала и обирала; что даже пресловутая ленинградская блокада была делом рук Сталина, а не Гитлера. Всё это верно; но ни в ту пору, о которой пишу, ни раньше, ни позже люди не сознавали, что в этом специфическом отношении Москвы к городу на Неве крылась нечто большее, чем чехарда столиц: крылась *реакция допетровской Московии на петровскую революцию*. Ни гонимые этого не признавали, ни сами гонители. Влекомые гольфстримом тысячелетней традиции, оказавшейся им не по уму, большевики осуществляли чужую, непонятую ими программу. Их руками Малюта Скуратов брал (и взял) реванш над Петром. Большевизм, в своём марксистском фраке и цилиндре, с бухаринской сигарой, был возвратом к допетровским временам, к изоляционизму по отношению к Западу и объятиями, раскрытыми Востоку, когда китаец и мусульманин — братья, а поляк-католик — враг. Традиция перешагнула все культурные границы, все идеологии и самый этнос — потому что ведь и то необходимо признать, что Страна Советов, вычищенная большевиками, *этнически* уже не была Россией.

Возвращаюсь в 1972 год, к Афанасьеву. Чтобы довершить чудо, увидеть это невероятное, никем не подсказанное расположение ко мне московского эмиссара, нужно ещё и то сказать, что Афанасьев представлял издательство *Молодая гвардия*, про которое твёрдо было известно, что оно-то и есть главный оплот советского юдофобства. Этот вопрос повис для меня в воздухе: как честный Афанасьев уживался с русопятами из комсомольцев? (Публика эта, чтобы определить её одним словом, комнату называла *светёлкой*.) Большевистская идеология дышала на ладан. Людей попроще мучил душевный голод (они, бедняги, называли его *духовным* голодом), и эти простолюдины мысли кинулись набивать желудок не в столовую, а на кухню. Место интернационализма у смердов сходу заступил национализм в форме русопятства, место марксизма — *московское* православие: не религия с поисками Бога и спасения души, а идеология с возвеличиванием *русского бога* и русского этноса. Полудохлый боль-

шевизм не препятствовал трапезе. Новые православные сходились со старыми большевиками по главному пункту: Россия — великая держава, русские — избранный народ. Единственно правильное учение Маркса-Энгельса-Ленина без всякого нравственного или умственного усилия переродилось в единственно правильную церковь. Вчерашние комсомольцы проснулись богомольцами и не заметили в себе никакой перемены.

Трудность состояла лишь в том, что бы как-то определить избранный этнос. Вчера им был весь мировой пролетариат во главе, разумеется, с русским пролетариатом, а теперь должен был стать весь без разбора русский народ, с его интеллигентами, партократами, урками и бомжами. И вот стихотворец Вадим Кожин из *Молодой гвардии*, один из московских мыслителей поры «духовного голода», вспомнил 1920-е годы и нашёл там ключевое слово, а с ним и выход из тупика. «Евразийский народ, — писал он, — это не Азия плюс Европа, это совершенно особенный народ. И ещё, евразийцы — это, главным образом, русский народ».

Но историк знает, что русского этноса никогда не существовала. Русские никогда не были племенем или хоть сколько-нибудь генетически однородной массой; их определяли через государственность и культуру. И ветры вернулись на круги своя. Новые евразийцы поневоле должны были принять определение старых черносотенцев. Монголоиды, тюрки, персы всех их кавказских мастей и разновидностей, мордва, якуты, корейцы, эскимосы и прочие вековые обитатели улуса Джучи, унаследованного Москвией от Орды, — все они ещё не беда, всех их можно выучить говорить по-русски и повторять за классиком «Москва! Как много в этом звуке». Беда с евреем, который и так уже, без спросу и наводки, наизусть всего *Евгения Онегина* читает, — но зато в нём-то, в еврее, и выход, в нём и ответ на вопрос, кто у нас русский. Русский тот, кто не еврей. Только и всего.

Однако молодогвардейцы и прочие московские интеллигенты советской выучки не могли этого провозгласить прямо даже перед собою, в своём кругу не могли. Чтобы не прослыть расистами, они перевернули пошевелили народную пословицу «жид крещёный что вор прощёный». У них вышло: полное прощение жид крещёный — жид прощёный. Тот же Кожин публично оправдывался: «Кстати, жена у меня еврейка, но она совершенно православная. Это кстати к вопросу о моем якобы антисеми-

тизме. Сорок лет живём». Ни расизма, ни противоречия он в этих словах не видел. Забыл, что крещёный еврей — не еврей ни для иудеев, ни для христиан.

И с этим-то Кожинным дружил мой Виктор Васильевич Афанасьев! Но это я потом узнал, десятилетия спустя. А тогда видел в Афанасьеве честного москвича, праведника от культуры, подвижника русской словесности, совершенно свободного от антисемитизма.

2. ПИШУ...ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ?!

Возьмем пробу воздуха той эпохи, вдохнём неповторимые ароматы брежневской солончаковой пустыни. Письма ко мне честного Виктора Афанасьева сохранились, они теперь в Гуверовском архиве в Калифорнии. Мои письма тоже там, и они тоже презанятны. Главное в них — утираю слёзы умиления — моя тогдашняя всепоглощающая вера в великую русскую литературу, в будущую пушкинскую Россию, ради которой стоило идти на костёр... Мог ли я вообразить, что доживу до Путляндии?

Десятого октября 1972 года, после недель добросовестной читки убеждённых пылью молодых поэтов, расхваливший меня Афанасьев вернулся из Ленинграда в столицу всего прогрессивного человечества. На прощание он твёрдо обещал мне, что опубликует мои стихи в первом же номере всесоюзного альманаха *Родники*, им, Афанасьевым, создаваемого.

Уже самое название альманаха было произведением искусства эпохи социалистического реализма. Во-первых, в нём скромно проглядывало слово *родина*, первое и главное слово для большевиков и почвенников, которое они всегда писали и пишут с прописной буквы. Во-вторых, оно подразумевало чистоту авторов, их незамутнённую вредной, рассудочной городской культурой, отсылало к русскому приволью, к лесам, полям и лугам тургеневской России, девственным и прекрасным. В-третьих, в нём присутствовал неперенный в советской литературе патронаж. Литература не сама собою развивается. Таланты нужно выискивать в глубинке, помогать ручейкам становиться реками... авось, став реками, они сохранят свою девственную чистоту, не сразу сделаются сточными канавами с отходами химических производств... не сразу их потребуется чистить... В одном слове — ворох смыслов и целая эпоха!

Напутствуя меня, Афанасьев велел мне через три месяца прислать ему ещё стихов, ибо видел, что пишу я много, чуть ли не по стихотворе-

нию в день, и надеялся, что родник не пересохнет. Обещал он мне и дальнейшую помощь, вплоть до издания книги моих стихов в *Молодой гвардии*, что уж точно по вероятности равнялось полёту на Марс. Ссылаясь на занятость, он, однако, просил напоминать ему о себе. В ноябре мне пришлось это сделать. Вот мое первое письмо к Афанасьеву, направленное по адресу: Москва, В-312, улица Вавилова 25-1.

27.11.72

Уважаемый Виктор Васильевич!

Давая себе отчёт в том, как Вы заняты, я всё же решаюсь Вас побеспокоить, ибо судьба моей рукописи в «Родниках» тревожит меня чрезвычайно. Мне стало известно, что Ю. Оболенцев получил от Вас положительное уведомление. Означает ли это для меня (я такового не получал) отказ или, быть может, простую заминку? В любом случае, если Вы найдете возможность написать мне об этом две строки, Вашим должником остаётся —

Ю. Колкер

Если Вы окажетесь в Ленинграде, буду рад видеть Вас у себя:
Гражданский 9-20, 41-66-02.

Юрий Оболенцев был рабочий поэт, поэт из рабочих. Большевики искали опору в «социально-близких элементах», от недоучек до уголовников. Формулой умолчания было: талант должен происходить из народа, то есть из низов, интеллигенцию в народ не включали, она была вся с гнильцой, вся неправильная. Оболенцев и был из низов — и, честный сын трудового народа, не шутя этим гордился. О стихах его можно говорить, а можно не говорить. В кружке, к которому я принадлежал, о них без насмешки не отзывались. Несколько раньше, в 1968 году, судьба на минуту свела меня с Оболенцевым в литературном (карикатурном) объединении *Радуга* на Обводном канале, которым «руководила» советская тоже-поэтесса Елена Вечтомова-Инге по прозвищу Домна Вечтомова. В этом союзе бездарностей Оболенцев считался талантом. В 1972 году этому «молодому автору» было 36 лет.

Афанасьев ответил мне 6 декабря 1972 года:

Уважаемый Юрий Иосифович!

Отвечаю на ваше письмо. Ю. Оболенцев получил рецен-

зию, а какие стихи и сколько будут отобраны в «Родники» — пока неизвестно. Я рекомендовал в сборник все ваши стихи и пока возражений нет. Сборник 1973 года в окончательном виде сложится в феврале — начале марта следующего года. Я буду отстаивать ваши стихи (в том смысле, чтоб напечатали как можно больше), но что-то, вероятно, слетит при дальнейшей «фильтрации»...

Я ваши стихи читал с искренним удовольствием, они резко выделяются на общем фоне... Вы не дилетант, не новичок, не подмастерье — вы уже мастер, — дай только вам бог в дальнейшем больше разнообразия. Бескультурье и аморфные вялые стихи надоели всем, побольше бы таких молодых поэтов как вы.

Ваш теперешний и всегдашний в будущем читатель

Виктор Афанасьев

Р. С. В феврале-марте [1973] справьтесь о стихах.

Я «уже мастер»! А мне 26 лет... Оно, конечно, и немало по лермонтовским временам, когда человек в 18 лет был взрослым вполне и до конца — настолько, что мог вызвать на дуэль сорокалетнего. Но по тогдашним советским временам — 26 лет было сущее младенчество. В ту пору все ходили в коротких штанишках до сорока. Вся жизнь была в руках у стариков во главе с белокочанными кремлевскими геронтократами. Советская власть, ещё недавно — власть молодых (вспомним у Асеева «Никто из нас не встретит сорока»), состарилась и одряхлела. Другая особенность была та, что, медленно взрослея, мы, тогдашние молодые, быстро начинали стареть.

Афанасьеву, между прочим, было сорок, но в 1972 году я этого не знал — не задумывался об этом. Для меня он человек без возраста, то есть, хм, пожилой человек. Хуже того: он был для меня человек хоть и с поприщем, но без призвания; служит русской культуре, где-то там, в сени кремлёвских учреждений, служит самоотверженно, вот ведь и меня, убогого чухонца, выловил своим культурным неводом на берегу пустынных волн, — а сам парнасского пера в руки не берёт, терпения музы не ищет.

Характерная слепота! Мне и в голову не шло поинтересоваться этим

человеком поближе. Если б поинтересовался, узнал бы, да и несложно было, что Афанасьев и сам стихи пишет, более того, книжку стихов выпустил (то есть приобщился к лику русской литературы, причастился вечности), и как раз недавно, в 1969 году, в пушкинском возрасте. Человек сообразительный и хваткий на моём месте тотчас бы эту книжку отыскал, стихи Афанасьева похвалил, вернул бы ему его ошеломляющий комплемент: «ваш теперешний и всегдашний в будущем читатель» — и, тем самым, снял бы у Афанасьева последние сомнения в том, что тот открыл во мне настоящего мастера. Всё это было бы совсем не лишним, потому что любовь приходит и уходит, особенно же быстро уходит, если не встречает взаимности. Небольшое нравственное усилие — я и свой человек в *Молодой гвардии*, у новых евразийцев, которые ведь уже сами мне руку протягивают... Перед бедным сочинителем распахиваются райские врата советского распределителя славы. Вот я уже *член* (союза писателей и Литфонда), вот я уже барин (можно на службу не ходить), а там и всё, что этому сопутствует: деньги, рестораны, литературные женщины, Евтушенку при встрече Женей называю... Но ничего этого не было в моих мыслях. Не был я сообразительным и хватким. В моих мыслях было высокое служение Русской Музе.

Афанасьев обещает протолкнуть в *Родники* все мои стихи. Все! А их было отобрано — двадцать семь стихотворений. То есть по объёму почти целая авторская книга стихов... ну, половина такой книги, хотя ведь и то можно вспомнить, что первая русская *книга стихов* (не сборник стихов), *Сумерки* Боратынского, как раз и содержит ровно 27 стихотворений. С такой большой публикацией во всесоюзном альманахе, да ещё первом, в парадном его выпуске, я разом становлюсь поэтом, разом — на белом коне, в треуголке и с саблей наголо — въезжаю в райские кущи субсидируемой литературы. Вот это, не стану скрывать, *было* в моих мыслях — на крохотную минуту и сразу с усмешкой, потому что поверить в это было очень уж трудно. Я не до конца поверил и правильно сделал. Утешался авансом, вспоминая лукавые (и не совсем оптимистические) строки Пушкина из его *Невского альманаха*:

Что слава мира?... дым и прах!
Ах, сердце ваше мне дороже!..
Но, кажется, мне трудно тоже
Попасть и в этот альманах.

Пересматриваю список отобранных Афанасьевым стихотворений. Почти все они вошли потом в мою первую книгу под безнадёжным названием *Послесловие* (1985), изданную уже в эмиграции. Но среди них есть и такие стихотворения, которых, что называется, след простыл: не помню таких названий, не то что строк из них. Это были стихотворные упражнения. Писал я в ту пору взхлеб и прекрасно понимал, что бо́льшая часть написанного со временем уйдёт в отсев, — как раз потому понимал, что вовсе не считал себя мастером. Такие вот отсевные стихи и напечатали в итоге в *Родниках* ... правда, не в первом номере и не в 1973 году, а во втором, в 1974 году, и не 27 стихотворений, а всего три. И я вовсе не изумился. Я уже знал, что в редакциях всегда безошибочно отбирают худшее. В любых редакциях; в эмигрантских это правило оказалось столь же непреложным, что и в советских. Ни в ту пору, ни позже это меня не огорчало, не тревожило. Что выбрали, то выбрали. Это ведь мною написано? Ну, так и отвечу за написанное на страшном суде. Пораженья от победы не отличаю. Стихотворные неудачи случаются и у гениев. Гораздо важнее было не то, что выбирают в редакциях, а то, что выбираю я сам.

...Моей идеей было включить в это сочинение всю нашу с Афанасьевым переписку, но я над нею заскучал, и меня потянуло в другую сторону. После 1974 года мы с Афанасьевым забыли друг о друге; можно и так прочесть: разочаровались друг в друге. Я о нём услышал уже в XXI веке — и услышал занятное: праведник Виктор Васильевич стал *монахом в миру*, да-да! Тоже в некотором роде форма эмиграции, а уж эскапизм — несомненный...

Меня потянуло в другую сторону, я ведь о себе пишу — и волен в выборе тропинки. В качестве предисловия (или эпиграфа) к последующим страницам выписываю любимые мною строки их автобиографической *Жизни Анри Брюлара* Стендаля:

«Конечно, для меня это наслаждение: пытаться *со всею мыслимой точностью* проследить и выразить в слове мои переживания, но у кого хватит духу прочесть эти бесконечные яканья? Вот недостаток подобных сочинений! (...)

Я вовсе не намерен писать историю, я записываю только мои воспоминания — с тем, чтобы понять, что я был за человек: глупый или умный, трусливый или отважный, и т. д., и

т. д.. Хочу дать ответ на великое [дельфийское] изречение: Γνῶθι σεαυτόν» [*постигни себя*; в идиотском устоявшемся переводе: «познай самого себя»] (...)

Я делаю большие открытия о самом себе, когда пишу эти воспоминания. Трудность заключается уже не в том, чтобы найти и передать истину, а в том, чтобы найти для неё читателя... (...) мысль о том, что меня станут читать, исчезает всё больше и больше... Кто станет читать такой вздор?»

По-моему, это — стихи в прозе. Писано в конце 1835 года в Риме. Стендалю 53 года. Он строит догадки о том, каким будет в 65 лет, но проживёт только 59 лет. Он мечтает о том, что его будут читать в 1935 году, и в этом не ошибается. Мог ли он вообразить, что его будут читать в Лондоне по-русски в 2012 году, в 2026 году?

3. РОКОВОЙ ВЫБОР

В 1972 году я жил под родительским кровом — и тяготился этим. Мои отношения с приятельницами, сплошь ровесницами (меня не интересовали ни те женщины, что моложе меня, ни те, что старше), становились всё неопределеннее, всё меньше устраивали их и меня. Наступает такой момент — даже в жизни Пушкина он наступил, а уж на что был по-веса, — когда человек произносит:

Прошел весёлый жизни праздник.
Как мой задумчивый проказник,
Как Баратынский я твержу:
Нельзя ль найти подружки нежной?
Нельзя ль найти любви надежной? —
И ничего не нахожу...

Я тоже ничего не находил, тоже *играл* этим роковым выбором — потому что, раз уж я решился вспомнить Пушкина и опереться на классический пример, то приходится и то произнести, что женитьба, сколько бы мы ни ребячились и ни играли, всегда именно *роковой выбор*. Решаясь на этот шаг, ты хоть на минуту становишься серьёзен, оказываешься перед лицом какой-то загадочной, в генах укорененной абстрактной бесконечности. Супружество нацелено на продолжение рода. С очень большой

степенью вероятности ты посылаешь свои гены в неопределенное будущее, даже если держишь в уме женитьбу без детей. Вместе с тем женитьба, хоть по самой пылкой любви, всегда была и остаётся *хозяйственной сделкой*. Заключается контракт. При свидетелях произносятся условия. В хорошие времена первым свидетелем был Бог, браки заключались на небесах, заключались навсегда... — но они всё-таки *заключались*, тогда как любовь, которая ещё только *голос рока* по Шиллеру (и дитя свободы по опере Бизе), никакого *заключения* не требует, кроме заключения в объятия. В советские времена Бога не было (его заменила почвенническая Родина с прописной буквы), браки заключались в конторах... но выбор, которые делают двое, потому и роковой, потому и судьбоносный во все времена, что Бог, как его ни гони, всё-таки тут, устранить его из этого предприятя почему-то не удаётся, будь ты хоть стопроцентный атеист. В союзе двух сердец (возьмём проверенную временем формулу) нормальные люди ищут счастья (Пушкин по этому признаку был нормальным человеком), но женитьба, вместе со всем ожидаемым счастьем, всё-таки — шаг к смерти (не обязательно к смерти на дуэли), явственный и прямой шаг к последней завершенности. Не чувствовать этого нельзя.

В 1972 году случайные связи стали мне тягостны; я понял, что мне пора жениться, и взглянул окрест меня. Годились только ровесницы, а из них только те, кто *уже* любит меня, чья любовь доказана, кто может обеспечить ту самую пушкинскую «надёжную любовь», стать мне опорой в моих наполеоновских литературных затеях. Молоденькие и нетронутые отвергались с порога — как устаревшая пошлость. (Пушкина в его выборе отчасти оправдывала эпоха, дорожившая в первую очередь внешним, показным, напускным, а всё равно выбор его кажется диким и пошлым.) Красавицы, а с ними и те, кто считает себя красавицами, кто заботится о своей внешности, «следит за собой», тоже негодились. «Сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер мая.» Ревность, неизбежная при такой подруге, грозила заслонить поприще, подменить его, стать содержанием моей жизни; жалко было расходовать себя на такую чепуху.

Тут встаёт кардинальный вопрос: что понимать под «нежностью» в стихах Пушкина? Мраморную белизну кожи или готовность утешить в беде, тонкую талию или душевную тонкость? Внешность подруги, что и говорить, важна (кто из нас вовсе не тщеславен? ибо внешность — в первую очередь дань тщеславию), но в моей ойкумене, в моей готовальне,

ум, образованность, культура речи, литературность, естественность поведения — перевешивали... Пушкин, повторюсь, всё-таки был по этому пункту пошляком при взгляде из будущего. Разве он интересовался умом Наташи Гончаровой? Красота и молодость значили для него больше. Появиться на балу с красавицей, под завистливый шёпот разряженного и напыщенного высшего света — вот что, сознательно или бессознательно, определило его выбор. Но балы кончились навсегда, и я, сообразуясь с духом времени, понимал нежность по Боратынскому. Его Настасья Львовна Энгельгардт была «не элегической внешности», по определению Вячеславского, зато и подругой поэту стала надёжной...

Между прочим, именно Вадим Кожин первым в 1970-е годы начал писать фамилию Боратынский через *о*, что и правильно. Я пришёл к этому сам в 1976 году, после прочтения книги норвежца Гейра Хетсо о Боратынском... — и Кушнер тогда попрекнул меня этим новым («кожиновским», почвенническим) написанием фамилии поэта, но я не отступил, потому что руководствовался своим чутьём. Частичная правота не то что у почвенников случалась, а и у самих нацистов: вон какие дороги они построили; первыми додумались до скоростных автомагистралей.

Общая сумма моих требований к подруге была чрезмерна. Взглянув окрест, я никого не увидел до самого горизонта, «и душа моя страданиями уязвлена стала». Таких подруг, которые точно меня любили, нашлось три... нет, лучше две, третья уж очень была проста, — две, да и то с оговорками. Взгляд более пристальный подводил к мысли, что и в их-то любви очень можно усомниться, что свет для них клином на мне не сошёлся... Но мне было некогда, время подпирало, я собирался в ближайшее время «выйти в люди», «войти в литературу» — и нуждался в опоре, в подруге нежной.

Да-да, не отрицаю: я собирался вписаться в советскую субсидируемую литературу... Потому что деваться было некуда. Нельзя было жить и не писать; невыносимо трудно, да и неправильно было писать и не слышать читательского отклика. Неправильно было и становиться на путь борьбы политической, не в этом состояла задача литературы... А эпоха загнивающего социализма уже давала примеры того, что можно печататься, почти не поступаясь собою... Если так, почему не печататься много? При моей-то плодовитости? А там, глядишь, всё само собою образуется...

Афанасьев с его обещанием громадной подборки в *Родниках* и отдельной, авторской книжки в *Молодой гвардии* хоть и был, это уж точно, чудом, но был он венцом чуда, его завершением, — а чудо состояло в том, что меня как-то разом начали печатать по городам и весям СССР, и конференция молодых писателей Северо-Запада СССР в декабре 1971 года выделила меня и рекомендовала мою книгу в ленинградское отделение издательства *Советский писатель*...

Роковой выбор, выбор подруги, надвигался, шёл, «как мамонт Гасд-рубала», по словам подпольного поэта Роальда Мандельштама. Но в ту пору каждый шаг требовал выбора, ведь выбор пути — всегда роковой выбор...

4. ИГРАЮ МИРАНДОЛЕМ

Это был странный период в моей жизни. Какой-нибудь год с хвостиком назад мне ничего не удавалось, а тут вдруг, и без видимых причин, без разительной перемены во мне (как не вспомнить Мартина Идена?), стало удаваться многое — словно бы по мановению волшебной палочки.

То есть причина, конечно, была. Как без неё? Я снизил планку. Наступила зрелость, иначе говоря, пора компромиссов после бескомпромиссных детства и отрочества, требовавших «всего, со всею полнотой» (как сказал Огарёв); наступила пора *искусства возможного*, как называют дипломатию, а могли бы называть самую жизнь. Осенью 1970 года, я решил писать стихи не в свою силу, а в четверть своей силы, играть мирандолом. Одновременно я решил и мою научную карьеру свести к минимуму: к тому, чтобы защитить кандидатскую диссертацию — и ею хоть как-то защититься от пошлой, отвратительной действительности. Едва эти зрелые соображения меня осенили, как мне удалось поступить в аспирантуру, хотя евреев в аспирантуру не брали; и одновременно меня — мои стихи — стали печатать в журналах и альманахах. Правда, аспирантура получилась «у бабы Яги», в захолустном институтике, призванном урожайность увеличить в советских колхозах и совхозах, но ведь и она была чудом; правда и то, что печатать меня начали сперва на окраинах империи, лишь затем в Ленинграде, а до Москвы дело дошло только благодаря Афанасьеву, — но ведь взрослая жизнь и состоит из компромиссов, причём ты не только людям и обстоятельствам уступаешь, а в первую очередь себе самому...

Я снизил планку, и жизнь стала чудесна. Чудеса пошли одно за другим. Мои стихи в четверть силы, стихи как искусство возможного, оказались понятны многим. Вот фрагмент из первой в моей жизни рецензии на них, написанной в 1974 году ленинградской поэтессой Майей Борисовой (1932-1996), не газетной или журнальной рецензии, а *внутренней* рецензии, рецензии на рукопись моих стихов, с 1971 года пылившуюся в доме Зингера, в издательстве *Советский писатель*:

«Хочу сказать, что для первой книжки Юрий Колкер безусловно созрел. И психологически и формально.

Мне интересно было читать, наблюдая, с какой точностью, а порой — неожиданностью, фиксирует Колкер взгляды, оценки, вообще — ориентацию в современной жизни, — именно своего поколения, поколения молодых интеллигентов, которое во всем предпочитает докапываться до самых глубин, несколько даже болезненно честно при самооценках, не боится размышлений о самых сокровенных тайнах бытия.

"Я человек без биографии", "Я голода не знал, мой легкий хлеб..." — это стихи честные по самому большому счету. А если в стихах, трогающих тему войны ("Военных фильмов тьма", "Зачем меня подлость влечет"), автор немного и наговаривает на себя (особенно во втором), то, опять же — от честной боязни словесных заверений там, где что-то доказать можно только делом.

В одном из стихотворений Колкер характеризует свое творчество как "легкие строчки". Сказано, пожалуй, точно. Стих Юрия Колкера и вправду легок — не гладок и не легковесен, а именно легок, свободен. В нем не чувствуется натуги, пота, и потому читатель может быть уверен, что автор говорит именно то, что хочет сказать, а не то, на что его потянула рифма или размер.

В представленной рукописи есть стихи просто блестящие ("Печаль задумана умно", "Как таинственно имя твое", "Гляди, такая тишина...", "Фотография", к примеру), есть хорошие — их большинство, есть немного тех, прочитав которые хочется спросить "ну и что?" (вроде "Город Канев"), но таких —

немного. Нарушения вкуса, "глухота" к слову тоже очень редки и, пожалуй, удивительны, так как вообще словом Колкер владеет свободно и сопрягает слова просто и точно. Скажем — фраза "парка зеленая пряжа" лишена, на мой взгляд, права на существование, ибо в соседстве с "пряжей" парк немедленно превращается в парку, которая эту пряжу должна, по мифу, прясть.

Прочитанная мною рукопись, разумеется, ещё не книжка. Но из включенных в нее стихов книжку сделать можно, и нужно...»

Я счёт необходимым письменно поблагодарить Майю Борисову, с которой знаком не был. Вот моё письмо к ней:

Дорогая Майя Ивановна!

Несколько дней назад К. М. Успенская [редактор в *Советском писателе*] ознакомила меня с рецензией на рукопись моих стихотворений, написанной Вами для издательства "Советский писатель". Ваша доброжелательность далеко превзошла то, на что вправе была рассчитывать моя рукопись, поэтому я считаю своим долгом принести Вам свою благодарность за серьёзную и непредвзятую критику. Все сделанные Вами замечания справедливы и мною безоговорочно приняты. Прошу верить, что и Ваши похвалы, которые я ценю очень высоко, не вскружили мне голову: я держусь скромного представления о своих возможностях, и хотя я по-прежнему не связываю с издательством слишком больших надежд, даже и в том случае если книга моя не будет напечатана вовсе, — Вашим должником остаётся — Юрий Колкер

Прохладная вежливость, не так ли? Горячей быть не могло потому, что в 1970-е годы я стихов Борисовой не ценил... Будь я человеком хватким, я вспомнил бы, что в 1960-е, совсем ещё мальчишкой, я стихийно, без подсказки, отличил и выделил Борисову из легиона советских поэтов, — и в этом моём благодарственном письме с чистой совестью мог бы написать ей эту чистую, хоть и частичную, правду. Что до моей скромности, в этом письме заявленной столь энергично, то на двулика. Я знал, что сде-

лано мною мало, даже до постыдного мало, но совершенно так же я знал всей душой, что — потом, по последнему счёту, в пределе, — я не готов считать себя вторым от отношению к кому бы то ни было из живущих. Равнялся я не на советских писателей, а на мировых классиков. Провинциальность советской литературы была слишком наглядна.

Всё это я скажу Борисовой при встрече за Флегетоном и ещё раз поблагодарю её. Поправку насчёт «зеленой пряжи» я тогда внёс немедленно. В ту пору я очень ценил такого рода конструктивную критику; ценю и ныне. Моим тайным девизом в 1970-1973 было: сперва точность — потом выразительность; выразительность подождёт, а точность ждать не может; она — хлеб насущный.

Одно у Майи Борисовой мне показалось бестактностью: свою рецензию она начинает не словами обо мне, а общим рассуждением: мол, это «наша беда», что книги молодых авторов появляются в свет, когда сами авторы перестают быть молодыми. Бестактность состояла в том, что это рассуждение отвлекало от характеристики моих стихов. И тон рассуждения показался мне бестактным: «Я последнее время много думаю о том, какие практические акции могли бы помочь издательству преодолеть эту противоестественность...» Вольно ей «много думать», когда она *член* и может печататься! И ещё: думать тут было нечего. Рецепт, составленный по революционному плану Ленина, предложил тогда, в шутку, разумеется, Довлатов. Когда кто-то из сытых писателей начал с ним обсуждать, как помочь ему, Довлатову, издать книгу, Довлатов сказал: «Значит, так: первым делом нужно захватить телеграф, мосты и вокзалы...». Средства помочь молодым писателям не было, пока у власти находились выжившие из ума белокочанные большевики... Но ведь я решил играть мирандолом, самоутверждаться в четверть силы...

Оптимистка Борисова писала, что моя рукопись «при самых благоприятных обстоятельствах превратится в книжку не ранее 76-77 года». Не одна она верила в это чудо святого Януария. Верила и сил не жалена на продвижение моей рукописи и Кира Михайловна Успенская, приставленный ко мне редактор в *Советском писателе*. Ей тоже спасибо... Серьёзность, с которой она отнеслась к моим стихам, несколько даже смутила меня в те годы. Сам я, при всех моих наполеоновских мечтах, дорожил другим: игрой, наслаждением, доставляемым сочинительством. Вот признание, сделанное в апреле судьбоносного 1972 года:

Не относись ко мне серьёзно.
Известно всем: стихи — игра,
И мне раскаиваться поздно
И отступаться не пора.
Я верно б умер от безделья
Или состарился в тоске,
Когда бы не было веселья
И наслаждения в стихе.
Назло серьёзности житейской
И всем порядочным трудам
Я этот вздор эпикурейский
За Эльдорадо не отдам.

Борисова оказалась пророком: к 1977 году я молодым человеком быть перестал. Рукопись моя в *Совписе* (спасибо терпеливой Кире Успенской) постоянно обновлялась и меняла названия, а книгой не становилась. Осенью 1977 года Успенская сумела *добиться разрешения* на то, чтобы отдать мою рукопись на вторую рецензию, и не кому-нибудь, а Кушнеру. Рецензия, вот странно, опять оказалась положительной и опять не вызвала никакого движения в издательстве, но «эпикурейский вздор» в моей жизни к этому времени кончился, сменился отчаяньем и бешенством. В 1978 году стихи я из *Советского писателя* забрал и с советской властью дел больше не имел... Мирандоль кончился.

Сейчас смотрю в перевернутый бинокль и вижу: в 1972 году я полон жизни, полон до краёв идеями, замыслами, надеждами, счастьем; у меня есть всё, что мне нужно, и нет ничего, что мне не нужно... а в 1978 году — я уничтожен, раздавлен, тороплю смерть... Не расплата ли это за писание мирандолом? «Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.»

5. ГОД ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ

Год 1972 выдался запоминающийся. Я хоть и повзрослел, а жил преимущественно внутренней жизнью, серьёзностью не перегруженной, купался в счастье, резвился (благо на службу ходить не надо) — и под занавес года сочинил нашпигованное фактами шуточное стихотворение, дневниковую шпаргалку, канву событий, или, если угодно, письмо в будущее, адресованное мне в старости. Письмо дошло. Не приводя его (стихи не-

важнецкие), переберу упомянутые в нём события.

Сейчас для меня главное внешнее событие года — кровавый сентябрь: террористический акт, убийство израильских спортсменов на мюнхенской олимпиаде. Стыжусь, но у меня тогдашнего это убийство, по сей день переворачивающее душу, идёт в моих стихах в одном ряду с пустяками. Стыжусь, но не отрекаюсь. Таков я был. В политике — был и остался обывателем; никогда в жизни политикой не интересовался. Израиль меня тоже совсем не занимал, скорее раздражал. В еврейском вопросе главным для меня оставался советский антисемитизм. Всё важное сводилось к русской литературе и, тем самым, к России. Об эмиграции я не помышлял; изумился бы, скажи мне кто-нибудь, что в год Орвелла я окажусь в Израиле в качестве репатрианта. Посмеялся бы над ясновидцем...

Первым из пустяков в этом стихотворение идёт сообщение, что в газетном зале Публичной библиотеки обвалился потолок, — пустяк несомненный. Второй пустяк: некто Торопыгин сел главным редактором в *Авроре* вместо некоей Косоровой. *Аврора* — тогдашний *третий* из ленинградских литературных журналов, после *Звезды* и *Невы*. Три журнала на весь четырехмиллионный город, перенасыщенный гуманитарной интеллигенцией!

Но и мировые новости тоже мною отмечены, среди них — шахматный матч на первенство мира в Рейкьявике между Бобби Фишером и Борисом Спасским, проходивший с 11 июля по 31 августа. Матч выдался шумный, Фишер шалил, капризничал, но в итоге шутя разгромил Спасского.

Отмечаю я и переизбрание Ричарда Никсона, 37-го президента США. Тогда я ничего о нём толком не знал, теперь он — история, и притом интересная. Никсон — отец «разрядки политической напряженности» между Совдепией и США. Он, кроме того, развернул невообразимое освоение Луны (вспомним на минуту, что ещё в 1926 году Маяковский называл дорогу до Луны нереальной... а самолет братьев Райт оторвался от земли только в 1903 году, всего за 66 лет до *Аполлона-11* и Нила Армстронга, первого человека на Луне). При Никсоне, во время его первого президентского срока, за три с половиной года на Луне побывало *двенадцать* астронавтов. США в считанные месяцы обставили СССР в освоении космоса, наглядно показав миру преимущество свободы над рабством. Понятно, что американцы были горды — и благодарны Никсону, оттого и

переизбрали его. Он же, впрочем, и свернул эту космическую программу; последние два американца, Andrew Cernan и Harrison Schmitt, высаживались на лунную поверхность 11 декабря того самого 1972 года, о котором пишу, а я, как и почти все вокруг меня, этой высадке на Луне не заметил, ведь советские газеты и радиостанции замалчивали достижения американцев.

Не по газетам, а по моим стихотворным упражнениям той поры я знаю, что Никсон приезжал в Ленинград 23 мая 1972 года. Я в ту пору упивался *эстетикой факта*, дорожил документальной точностью всякой стихотворной зарисовки. Зачем приезжал Никсон, я знать не хотел; не заметил даже, что Бродского выпустили сразу после приезда президента; сейчас допускаю, что это произошло благодаря его, президента, представительству. Эмиграция Бродского в мои стихи не попала. Стихи Бродского я знал с пятнадцати лет, но они никогда ничего для меня не значили.

Одну строфу из той моей стихотворной дневниковой шпаргалки я всё-таки приведу:

Пять редакций, точно разум
Весь ушёл на перепой,
Вдруг меня печатать разом
Собрались наперебой...
Мне бы не свихнуться, часом...

Вот что было для меня куда важнее Никсона и полёта на Луну, не говоря уже о Бродском. Первая моя публикация состоялась в июле 1972 и ошеломила меня как гром среди ясного неба: ни с того ни сего меня напечатал алма-атинский журнал *Простор*. Всё напечатал, от строки до строки, что было послано; не меньше десяти стихотворений, полный разворот, притом что журнальный лист *Простора* был больше обычного.

Разумеется, стихи я в *Простор* посылал сам, но я ведь чуть ли не каждую неделю посылал куда-нибудь стихи. В *Простор* я послал стихи весной 1972 года, послал и забыл о них — как посылал, тут же забывая и не надеясь, во все прочие советские литературные журналы, их же было в ту пору равным счетом сорок шесть... да-да, всего 46, на все 22 миллиона квадратных километров суши; причём не меньше трети из этих 46 составляли журналы местные, республиканские или областные. Ошеломивший меня *Простор* был органом союза писателей Казахстана; *Подъём*, куда я

тоже сунулся, — органом союза писателей РСФСР и воронежской писательской организации, а, скажем, *Полярная Звезда*, она же *Хотугу-Сулус*, — органом союза писателей Якутии, созданным (как мне прямо написал оттуда 8 января 1974 года заместитель редактора Ю. Чертов, человек не злой) «для пропаганды якутской литературы» и для кормления переводчиков («обязательства перед переводчиками выполнять надо»)… Занятно, что помимо названия, всегда по-советски выразительного (чего стоит хотя бы *Уральский следопыт*), у каждого такого советского издания, где бы оно ни печаталось, всегда имелся пресерьёзный стандартный подзаголовок: *Литературно-художественный и общественно-политический журнал*.

Конечно, имелись ещё журналы не собственно «художественно-литературные», а нацеленные на публицистику, например, знаменитый *Огонёк* с его миллионными тиражами. Такие журналы тоже регулярно печатали стихи. Имелись газеты, где стихи не были редкостью, — однако если вспомнить, что даже литературные журналы как огня боялись нестандартных метафор, то легко вообразить себе требования прочих изданий, прямо и откровенно идеологизированных. Стихи в *Огоньке* должны были звать к трудовым подвигам, к новым свершениям, у меня же (пусть и не на уме, а только на языке) были *новые свержения*.

Вся политика, а с нею и вся Москва (потому что и самые стихи в Москве были политикой) не занимали никакого места в моей тогдашней жизни, попадали только в проходные и шуточные стихи, — зато все честные стихи, серьёзные и несерьёзные, мои и не мои, составляли её, этой жизни, самую основу и всё её содержание. Всё вертелось вокруг них, «вилось вокруг стиха», как «вокруг штыка» у Багрицкого.

В 1972 году я постоянно посещал литературный кружок Александра Кушнера при фабрике *Большевичка* и кружок Глеба Семёнова при «дворце культуры» Выборгского района, эпизодически бывал у Сергея Давыдова в Промкооперации (название старое, ещё довоенное; так это богоугодное заведение называли старшие; в наши дни это был какой-то «дворец культуры» на Кировском проспекте), посетил Александра Городницкого в Политехническом институте, изредка бывал у *Домны* Вечтомовой на Обводном канале, в убогом кружке под названием *Радуга*, куда ходили двое моих приятелей. Из редакций — я проложил себе дорогу в *Неву*, где со мною разговаривали по-человечески, один раз имел удовольствие разго-

варивать в редакции *Авроры* с антисемиткой Лидией Гладкой, в *Звезду* же я не ходил вовсе, получив оттуда очень выразительный отворот-поворот в 1971 году от Николая Брауна и Николая Кутова. Вообще в редакции я предпочитал не ходить, а писать, тогда как люди хваткие поступали иначе...

Простор был первой из пяти редакций, первым из пяти журналов, опубликовавших меня в эти судьбоносные месяцы. Вторым, и столь же внезапно, меня напечатал минский *Неман* (№11, 1972): напечатал всего одно стихотворение, типичное стихотворное упражнение, зато с портретом. Третья редакция — ежегодник *Молодой Ленинград* на 1972 год (где среди авторов преобладала молодежь возраста Оболенцева). Четвёртый журнал — ленинградская *Нева* (№5, 1973), одно стихотворение (спасибо Всеволоду Рождественскому, ученику Гумилева), но с искажениями: начальную прописную каждого стиха мне заменили на начальную строчную. Четвертая с половиной редакция — редакция газеты *Строительный рабочий* (26 мая 1973); эту публикацию можно считать, а можно не считать, но в жизни начинающего это было событие, судьбоносное событие. С пятой редакции я начал мой рассказ, это — *Родники* Виктора Афанасьева, которые, в лице Афанасьева, в 1972 году ещё только «решили» меня печатать.

6. САМОВИТЫЙ ФАКТ

Факт, точно выбранные слова, невыдуманное происшествие, отпечатавшаяся в памяти мелочь типа ахматовского одуванчика у взлётной полосы, — выразительнейшая *портретная* черта автора, а если повезёт, то и нечто большее: янтарная капсула, хранящая ДНК эпохи...

Навожу мой оптический прибор на воскресенье, 21 мая 1972 года, и с изумлением вижу: вот я сижу в Публичной библиотеке, не на Фонтанке 36 (где потолок обвалился), а на Садовой 18, в залах для научной работы. Книги передо мною не совсем учёные: Байрон по-английски и Лидия Койдула по-русски. Байрон потому потребовался, что случай свёл меня с известной переводчицей Татьяной Григорьевной Гнедич, и я, по её заданию, пытаюсь переводить английского классика. Ещё передо мною англо-русский словарь. Английского я толком не знаю, лезу в словарь, чтобы посмотреть такие простые слова как *sorrow*, *tear*, *grave* и *torture*; теперь смешно, а тогда было не до смеха. Но, повторю за Руссо, «я ведь не обе-

щал вам написать портрет великого человека», я обещал, да и не «вам», а только себе, попытаться понять себя и понять то давнее гиблое время, на которое пришлась моя молодость. Никто вокруг, исключая считанных профессионалов, не знал толком ни одного иностранного языка. Такое знание было праздным, ненужным; за границу не пускали.

Койдула, эстонская поэтесса (1843-1886), потребовалась потому, что я стал интересоваться Эстонией. Не один Довлатов хотел туда перебраться, убежать из гиблого и затхлого Ленинграда для поправки своих литературных дел. Я тоже поглядывал в ту сторону. Удерживала от переезда, в первую очередь, так называемая *прописка*, право на жильё в Ленинграде, громадная, как полагалось думать, привилегия. Утратить эту прописку было страшно. Такая утрата уравнивала меня с жителями Калуги или Воронежа, о чём и подумать было страшно. Манило в Эстонию то, что и научное, и литературное становление обещало сложиться там быстрее, без дикой азиатчины петровской столицы. В Таллине у меня жила приятельница, я гостил у неё в марте 1972 года, от неё получил эстонскую книжку, откуда перевел (переложил по подстрочнику) одно стихотворение Вальмара Адамса, тамошнего поэта и профессора русской литературы, некогда дружившего с Игорем Северянином. Пятого июля 1972 года я отправился к нему в гости... не к Северянину, а к Адамсу; русский язык устроен с таким подвохом, что нужно очень и очень следить за смысловыми связками имён и местоимений, что вовсе ушло из культурного обихода теперешних писателей.

О Койдуле я записал в дневнике: «Жуткая дрянь! Похоже на то, что у эстонцев и не было хорошей поэзии». Обобщение сделано не на голом месте. В других эстонских поэтов — в плохих русских переводах — я тоже заглядывал.

Из Байрона я 21 мая 1972 старательно выписал два стихотворения To Caroline (1805) и To Mary (1806), — любовную лирику, естественно... «Неверный отблеск прелестей твоих, доступный кисти, — дивных, мимолётных... обезоружил сердце... вернул мне жизнь...» и тому подобное. Ничего у меня не получилось; не перевёл я этих стихов. Перевёл, и сносно, более известное стихотворение «So, we'll go no more a roving», и «старуха Гнедич» (ей тогда было 65 лет) перевод одобрила (сказала: «лучше, чем у Маршака»), собиралась включить его в какое-то собрание, да вряд ли включила; я вскоре перестал с нею общаться.

Что ещё по части пленительных фактов из шкатулки судьбоносного года? Я — счастливый обладать пишущей машинки *эрики*, перед которой все мои нынешние компьютеры — прах. Текст, написанный на эрике, — совсем не то же, что рукопись. Аккуратные, стандартные буквы позволяют спрятаться за их строем, уберечь всё слишком личное, немедленно обнаруживаемое почерком. Они родственны тем в броню одетым буквам, что выходят из-под пресса Гутенберга (почему он и казался подателем последнего, величайшего счастья) — и выводят меня неуязвимым, победительным. Эрика очень мне помогает. С её волшебной помощью я заканчиваю в 1972 году мою первую книгу стихов, *Кентавромахию*, — ей-богу, без эрики не закончил бы! — книгу, не советским издательствам предназначенную — кто же такое название примет! книга должна называться *Плечом к плечу* или *За далью даль*, — а книгу, адресованную в будущее.

Что ещё? Переписка с журналами *Юность*, *Новый мир*, *Полярная звезда*; сохранились прелюбопытные документы, их оригиналы, как уже сказано, — в Гумеровском институте.

Что ещё? Французский язык... Без видимой необходимости вздумал я осенью 1972 года записаться на курсы французского языка; на *государственные* курсы, которые давали что-то вроде диплома, а находились где-то под сенью Мариинского театра, не то на улице Декабристов, не то на Крюковом канале...

Вот педагог madame Ершова.
Мы стоим ей труда большого!
Я слышу чудные слова:
Bien... Prononce après moi!
И вот, забывшись, в унисон
Твержу за нею: le maison.
В кино, в гостях, садясь в трамвай,
Шепчу тихонько: le travail...
Закончен день. Ложась в постель,
Я думаю: Cette femme est belle!
И снится мне, что вдруг вблизи
Я слышу нежное: Vas-y!

Нет-нет, это — не стихи, это дневниковая запись от 8 сентября 1972

года. Она всего-навсего возвращает мне облик молоденькой преподавательницы, которой почему-то вздумалось назначить меня старостой группы...

Что мне взбрело в голову? Способностей к языкам никогда у меня не наблюдалось. Выгоды французский язык не сулил ни малейшей. Даже прямого наслаждения, как латынь и греческий, о которых я с детства мечтал и за которые принимался, французский не сулил, — ан вот взбрыкнулось. Я даже кандидатский экзамен собирался в 1972 году сдавать не по английскому, а по французскому языку. Всего я отзанимался один семестр... Бросил заниматься, когда включились другие обстоятельства: уже упомянутый *роковой выбор* и всё, что ему обыкновенно сопутствует.

Что ещё? В 1972 году я продолжаю играть в волейбол за команду Политехнического института, но уже — за вторую команду. Мне 26 лет, и как спортсмен — я не состоялся, так и остался перворазрядником. Как я мечтал некогда стать первоклассным волейболистом, играть за одну из команд мастеров в классе А (милые, давно ушедшие из языка слова и представления! в сегодняшнем русском вместо *мастер спорта* появилось слово *спортмастер*). В тринадцать лет спортивная карьера казалась мне возможной. Александр Абрамович Муркес, мой тренер в *Спартаке* на Стремянной улице (спортзал был в здании бывшей церкви), поначалу пророчил мне большое будущее — вплоть до сборной Союза. Но я — не сдюжил. Кость оказалась тонка, ростом не вышел. В тринадцать лет, с ростом в метр восемьдесят, я был в числе самых высоких ленинградцев, включая и старших, но как раз в тринадцать лет (еврейское совершеннолетие) расти я перестал, а другие не перестали, и Муркес махнул на меня рукой. Сейчас, когда пишу, мой рост — средний или ниже среднего в любой стране Европы... Хотя и то сказать, сантиметра этак три росту я к старости потерял...

Что я читал в 1972 году, кроме стихов? *Смерть Вазир-Мухтара* Юрия Тынянова; *Альберта Швейцера* Бориса Носика, *Петербургские зимы* Георгия Иванова, поэта первой эмиграции (естественно, эта книга считалась антисоветской и циркулировала только в кругу доверяющих друг другу людей)... Случайный, в общем-то, выбор, но тоже роковой. На книгу Георгия Иванова я откликнулся стихами о Леониде Каннегисере, которые смело предлагал в советские журналы, потому что имя этого героя из моих стихов не вычислялось (а если бы вычислилось, меня бы, че-

го доброго, КГБ прихватило, ведь Каннегиссер вошёл в историю тем, что застрелил председателя петроградской ЧК Моисея Урицкого)...

Мальчишка, поэт и скиталец,
От счастья волнуясь слегка,
Кладёт указательный палец
На тонкое тело курка.

За веру — счастливое свойство —
И ясный мальчишеский лоб
Ему выпадает геройство
И смерти весёлый озноб.

Французских наслушавшись басен,
Неапольским солнцем облит,
Не знал он, что подвиг напрасен
И будет так скоро забыт...

Балтийское море дымилось,
Сияло, текло на закат,
Но что-то во мне надломилось,
И я говорю невпопад...

А вот что я собирался прочесть, да так и не прочёл, ни в тот судьбоносный год, ни позже: статью Лидии Гинзбург о Мандельштаме в XXXI томе Известий АН СССР, серия литературы и языка, за июль-август 1972 года. Там, твердила молва, расшифрованы некоторые из самых загадочных стихов XX века. Такова ещё одна из гримас эпохи издыхавшего большевизма: напечатать стихи Мандельштама нельзя, а напечатать статью о нём в самом престижном научном издании страны — можно (хоть и сложно; самый факт появления этой статьи был сенсацией)... Зачем поэту быть загадочным? Тогда я не знал, а ныне знаю: стихи-загадки возникают от потребности сказать многое в немногих словах — и самому поэту загадками вовсе не кажутся.

Мандельштама, существовавшего только в машинописи, читать я начал, и поначалу читал без восхищения. Сейчас вижу, что два или три моих стихотворения начала 1970-х годов написаны мною не без влияния

этого классика. Александр Кушнер, в своей внутренней рецензии на рукопись моей книги (от 9 ноября 1977 года) для издательства *Советский писатель* отметил только одно такое стихотворение... но при обсуждении моих стихов в 1994 году в Доме ученых в Лесном, уже не в Ленинграде, а Петербурге, сказал, что я — один из немногих современных поэтов, вовсе избежавших влияния Мандельштама.

А вот и главное: в 1972 году я с восторгом прочёл Фукидиду. Эта книга на долгие годы осталась для меня настольной. Я проворонил моё призвание: живи я в свободной стране в свободное время, я стал бы историком античности. Страсть к прошлому не покидает меня всю жизнь, пережила многие мои увлечения — и продолжительные, типа моих учёных потуг по части математики (кандидатская степень, мною-таки полученная, не сделала меня учёным), и детские типа волейбола, и мимолётные типа французского языка.

7. «О, МОРЯ РОПОТ, МАГНОЛИЙ ШЁПОТ...»

Шаг в сторону рокового выбора был мною сделан до знакомства с Виктором Афанасьевым: 16 июля 1972 года я отправился к Чёрному морю... нет-нет, не в свадебное путешествие до свадьбы, не с подругой, а с рюкзаком — и с мыслью навестить по очереди на побережье двух подруг, к которым, собственно говоря, и сводился для меня роковой выбор. Только с ними общность казалась хоть сколько-нибудь обнадеживающей. Но следовало спешить. Я знал, что для каждой я только первый, но едва ли единственный, потому что обе, в точности как и я, не хотят больше жить под родительским кровом и напряженно перебирают варианты устройства жизни в той или иной степени самостоятельной, — ведь обе, по моему неперемennomу правилу, были мои ровесницы. Опекой старших они тяготились не меньше меня.

Браки заключаются на небесах, но сколько в них случайного! От какой чепухи иногда зависят наши *жизнь и судьба*! Задолго до судьбоносного года; задолго до того, как моя женитьба встала в порядок дня, чуть ни в мои школьные ещё годы, моя мать начала, к месту и не к месту, словно бы полушутя, внушать мне: невестку в дом не приводи. Я это крепко усвоил; сначала смеялся, потом и обиделся. Дело здесь шло не только о *жилплощади*, главной причине семейных раздоров в советское время, раздоров нередко низких, пакостных, мелких. Слова матери озна-

чали: с кем бы ты ни связал свою жизнь, принята в семью она не будет.

Положим, маму, когда дошло бы до дела, можно было бы попробовать переубедить, человек она была незлой, а лишь чуть-чуть излишне эгоистичный; хотела, по её словам «последние годы пожить для себя». Можно было бы напомнить ей, что ведь жила же у нас некоторое время, в нашей двухкомнатной квартире на Гражданке, моя сестра с мужем и новорожденным сыном, и помещались же мы в этой квартире впятером. Но тут включилась моя гордость. Никогда, сказал я маме, повзрослев, не приведу я свою жену *в твой дом*, даже если ты попросишь меня об этом.

Повторю, что сначала мать твердила своё заклинание полушутя — какие матримониальные планы у школьника и первокурсника? — но в каждой шутке есть доля шутки, а вода камень точит. Кошка между нами пробежала изрядная; охлаждение возникло и накапливалось. Оно всё более определяло наши отношения — и никто от этого, в конечном счёте, не выиграл (включая отца, который ни во что не вмешивался).

Теперь спросим: как бы сложилась моя судьба, если б не мамина предвзятость и не моя гордость? Или поставим вопрос ещё круче: как бы я повел себя, будь у меня, не женатого молодого специалиста, своё жилье? Может, не женился бы я в двадцать шесть, не эмигрировал бы в тридцать восемь? Ответа нет. «Не знаем и знать не будем.» Но хорошо помню, что на тех немногих счастливых в моем поколении, у кого в двадцать с хвостиком была своя отдельная квартира, я смотрел в ту пору как на Ротшильдов. Даже и комната, своя комната в коммуналке, была грёзой... Как могла мать (не говорю об отце) не понимать, что моё зависимое положение в 26-летнем возрасте — ненормально? Как могла не постараться отсрочить мой роковой выбор, который ведь не мог не ударить по ней в той или иной степени?

Но это в сторону, это всё «дипломатия на лестнице», рассуждения задним числом... это всё к тому, что иные обиды не забываются; к тому, как трудно жить, «щита не имея в обществе и семье».

Возвращаясь к повествованию: неужто те две подруги, к кому сводился мой роковой выбор в 1972 году, имели у меня равные шансы? Разумеется, нет. Стихотворение, законченное мною прямо в аэропорту 16 июля 1972 года, когда я сидел на рюкзаке, было обращено только к одной:

Не оттого ли, что ты в Коктебеле,
Так незащищен и тонок

Город в своей полуночной купели —
Мой безымянный ребёнок?

Писем не пишут из Гипербореи:
Пальцы не сосредоточить.
Мчаться в Тавриду — скорее, скорее! —
Лишь бы тебя не просрочить.

Город укутан в своей колыбели
Ворохом белых пелёнок,
По небу ходит в твоём Коктебеле
Мой белолобый телёнок...

Первая (назовём её Беттина), была, таким образом, в Крыму, но, если быть точным, не в Коктебеле, а по соседству, в посёлке Орджоникидзе, где устроилась «диким образом» (снимала комнату). Вторая (её звали Анаит) отдыхала в Пицунде, в пансионе *Ривьера* от Дома архитекторов, — тут поднимай выше, тут деньги и связи, не то что у нищей Беттины... Если поссорюсь с первой, рассуждал я, поеду ко второй...

На юг я отправился не на товарных поездах, как в 1969 и в 1971 годах (были у меня такие приключения), а на самолёте: впервые в жизни наскрёб денег на авиабилет из Ленинграда в Симферополь, стоивший тогда 35 рублей. Решение принял я внезапно. Проснувшись утром, бросил в рюкзак плавки, шерстяные носки (непременный атрибут южных поездок), шерстяное одеяло, свитер, кусок мыла и — важная деталь — туристический топорик, привязал к рюкзаку палатку и поехал в аэропорт Пулково. Этот порыв, напому себе, потому мог так легко осуществиться, что в ту пору я числился в аспирантуре, то есть был свободен, совершенно свободен... свободен, как никогда в жизни — ни до, ни после...

Моей соседкой в самолёте оказалась женщина моих лет, с которой я немедленно разговорился и познакомился. Сразу было ясно, что она из интеллигенции, человек образованный, явно гуманитарий, скорее всего филолог. Звали её Валентина Никитична К-ская, жила она в Ленинграде (у меня и адрес сохранился)... Все эти подробности драгоценны для меня именно потому и *только* потому, что моя страсть к прошлому, моё архивное помешательство не прошли с годами. Наш самолётный разговор с нею был первым и последним, о встрече в Крыму мы не условились — и

никогда вообще больше не встречались. Но эпизод этот важен. Всю дорогу (шутка ли, первый в жизни дальний полёт) я пребывал состоянии беспричинного радостного возбуждения, не вызванного, а лишь подхлестнутого случайным знакомством; беспрерывно, взалхлеб, болтал с соседкой, по большей части о стихах, читал ей на память «от Пушкина до Пастернака», расспрашивал новую знакомую о ней, задавал вопросы почти рискованные — и под конец вдруг явственно почувствовал, что моей собеседнице весь этот разговор и я сам не слишком по душе. В этом смысле разговор с К-ской стал вехой в моей жизни.

С ранней юности и вплоть до моего романа с советскими журналами, увенчанного эпистолярным романом с Афанасьевым, я жил в сознании своей чуждости окружающему миру. Общество не простиало ко мне своих объятий, наоборот, даже в лучшие периоды я, войдя в возраст, чувствовал холодную недоброжелательность со стороны этого общества, взятого в целом, и в конце концов стал платить обществу тем же. Весьма вероятно, что в некоторых случаях я эту недоброжелательность общества преувеличивал или даже выдумывал, но чувство моё от этого не становится менее реальным. Так или иначе, а никогда бы не мог я прежде вот так, с места в карьер, познакомиться с первой встречной. Мешала и моя врожденная застенчивость (преспокойно уживавшаяся с бестактностью) — потому что и без вопроса ясно, *что*, пусть хоть в самой отдалённой перспективе имеет в виду юноша (мужчина), знакомясь с девушкой (с женщиной), а это — уже бестактность; но всё-таки главное состояло для меня в молодости в том, что я не чувствовал себя своим среди своих. Когда же я опустил планку моих притязаний в стихах и в жизни; когда стал играть мирандолом; когда началась для меня эта непредставимая полоса мелких удач, — чувство, что окружающий мир мне враждебен, отодвинулось. Я поверил, что я интересен всем, ведь мне же есть что сказать, я человек с поприщем, я культурен и неплох собою. Новое это состояние длилось у меня года два с хвостиком — и пошло на убыль в тот памятный день, 16 июня 1972 года, во время самолётного разговора с К-ской.

По сей день вижу профиль соседки на фоне иллюминатора, за иллюминатором — самолётное крыло, а под крылом — захватывающий, никогда мною прежде не виданный и не пережитый, потому и незабываемый, вид прибрежной полосы и ослепительного южного моря. Минут за

десять до посадки от крыла начали отодвигаться вниз закрылки. К этому я совершенно не был готов, не летал прежде на больших самолётах. Гро-мадная щель между крылом и закрылками, тоненькие, хрупкие на вид планки, на которых закрылки держались, на мгновение сделали для меня очевидным, что крыло сломалось, что мы сейчас упадём и погибнем в авиационной катастрофе, разобьёмся. Всё это мелькнуло в сознании в форме явственно прозвучавшего вопроса «Неужели?» и тут же рассеялось, а сопровождалось, к моему величайшему удивлению, вовсе не ужасом, а чуть ли ни каким-то даже восторгом... Приземлились мы самым благополучным образом.

В Феодосию и оттуда в Орджоникидзе я добирался автобусами. Беттина не была предупреждена о моём приезде. Я несколько опасался, что застаю её не одну, и, действительно, застал не одну, а с приятельницей Вандой, тоже из Ленинграда, с которой они на пару снимали комнату. Поселиться в их комнате не было никакой возможности, и я разбил палатку под их окнами.

Ещё за день до того, на Гражданском проспекте, я записал в дневнике: «15 июля 1972. Началось?». Я ждал нового всплеска стихотворного запоя. Этот запой не оставлял меня вот уже два года, а начался он в октябре 1970 года, когда я «засунул в стол» все мои старые стихи и начал писать и жить словно бы с нуля.

Что я сделал, разбив палатку под окнами Беттины и Ванды? О еде не вспомнил, хотя последний раз ел в самолёте. Вспомнил о дневнике и немедленно занес туда стихотворение, сочиненное в пути, пока меня трясло в автобусах:

Бессмертник всё-таки цветёт,
Земля ещё вертится,
И нас ещё судьба ведёт,
И нам не отшутиться:

Сцедив в подойник свет из тьмы
Творительной десницей,
Он вечность, данную взаймы,
Востребует сторицей.

Записал — и поставил над этим эфемерным опусом порядковый но-

мер 356: столько было мною сочинено за два года di vita nuova...

Сколько стихотворений нужно поэту? Одно. Одного может хватить. Гесиоду — хватило. Гомеру хватило двух. (В ту детскую пору я, как и все вокруг, различал поэму и стихотворение, не понимал, что это в точности одно и то же.) Сколько стихотворений осталось в народной памяти от, скажем, Ивана Козлова? Одно. «Вечерний звон, вечерний звон! / Как много дум наводит он...» (какой дивный звон во втором стихе: о-о-дум-од-он!), — одно-единственное, да и то без имени автора, под брелчанье эмигрантской гитары в Париже, а при чтении его знаменитого *Чернеца* берёт скупка, вспоминается *Аскольдова могила* Загоскина. Иван Козлов, основательно забытый в советское время стихотворец, был на двадцать лет старше Пушкина. У Пушкина есть стихи, ему посвященные; Козлова при жизни переводили на французский и немецкий языки, это был поэт с европейским именем. Мой Виктор Афанасьев в 1977 году издаст о Козлове книгу, и я эту книгу прочту. А в июле 1972 года, я, живущий стихами, уже презирающий советскую власть, но в сущности своей совершенно советский, едва знаю имя Козлова; не прочёл ни строки из него; вместо этого я строю свои стишки и, естественно, мечтаю, что они будут жить долго... вечно... Бедный виршеплёт! Пожалеем бедного виршеплёта, впрочем, в ту пору очень счастливого, даже до неприличия счастливого, и не в последнюю очередь оттого, что ему — пишется.

Через два дня, под сенью той же палатки, появилось у меня в дневнике стихотворение под следующим порядковым номером, 357, с посвящением Мандельштаму. В отличие предыдущего опуса, я его даже публиковал:

Поэт дурачился с пространством,
Захлёбывался высотой
И упивался постоянством
Своей иронии святой.

И, в откровеньях неумерен
И неумерен в прямоте —
Он был мучительно уверен
В своей конечной правоте.

Мне, неисправимому архивисту, сейчас одинаково дороги и по видимости законченные стихотворения тех дней, и несостоявшиеся путевые

наброски. И те, и другие — капсулы смысла, в равной мере возвращающие в мою нынешнюю солончаковую пустыню воздух святой земли: запахи обетованной юности... Из моих корявых набросков вижу, что я пытался рифмовать «прогресс–прогрыз»... фи, слава богу, что удержался; и что свой рюкзак для дальнейшего путешествия я упаковал 20 июля...

Ах, наша глупость, точно глобус
Кругла... Что делать! Срок настал,
И завтра крохотный автобус
Нас увезёт за перевал.

За мысом выжженным, кудлатым,
Сияющего моря край
Мелькнёт в последний раз... Прощай!
До Одиссея ли? Куда там!

Прощай, моя Гиперборея!
Трагически обнажена,
Ты мне, как исповедь, нужна
И тягостна... Забыть скорее

Подвохи дневниковой прозы —
Со мною вечная земля,
И взвинченные тополя,
И в небе ласточкины слёзы...

Этот шедевр помечен: №358, 19 июня. Он остался без движения и даже на машинке никогда не перепечатывался — почему? потому что и тогда я знал: нарушение правильного чередования мужских и женских окончаний в первом стихе последней строфы, — провал, убивающий игру воображения. Поймёт ли меня кто-нибудь? Неважно. Важно (для меня), что Одиссей здесь — отсылка к моему циклу *Дневники Одиссея*, законченному год назад в этих же гипербореях; к моему стихотворному запое, который — я видел это с ужасом (и не хотел видеть) — кончается.

Орджоникидзе — место не совсем курортное. В поселке была закрытая зона, а в зоне, как знали решительно все, включая шпионов, — что-то связанное с производством или испытанием подводных лодок и другой

убойной силы. пляж не пустовал, но и тесноты на нём не наблюдалось, а чуть в сторону, одна за другой, лежали бухты совсем безлюдные и волшебные по красоте (Беттина собирала там цветные камешки, среди которых попадался сердолик, особенно ею любимый). Лучшего места для отдыха не требовалось, не случайно ведь Беттина приехала сюда во второй раз... да-да, что-то ведь влекло её. И место ей нравилось, и соседство романтического Карадага, не говоря о уже писательском Коктебеле (с писателями она водилась и сама сочиняла стихи).

Здесь бы мне и остаться с нею... но мною владела неукротимая охота к перемене мест, жажда движения во что бы то ни стало, движения ради движения. Непременно хотелось путешествовать, притом с походными трудностями, на попутных машинах и с ночевками в палатке, как я уже дважды путешествовал вдоль черноморского побережья. Как раз за год до этого, на самом пике моей жизни мирандолом, я научился — куда девалась моя прежняя застенчивость? — смело останавливать попутки, и не легковые машины, не богатых людей (машины, даже злосчастные запорожцы, имелись в советское время только у богатых), а преимущественно грузовики с работягами за рулём, садиться в кузов, если нельзя сесть в кабину (я даже предпочитал кузов, что бы там ни было навалено, ведь со мною бы дневник, были стихи — и требовалось уединение, не компания), — главное же, я научился не унывать, не смущаться отказами и в итоге добираться из пункта А в пункт Б практически бесплатно, путешествовать весело, в своё удовольствие.

Станным образом и Беттина, и Ванда согласились сняться с места и отправиться со мною в такое путешествие на кавказское побережье. Беттина, моя давняя привязанность, не без основания полагала, что путешествие сблизит нас с нею ещё больше, так что, пожалуй, и её роковой вопрос может разрешиться; Ванда, с которой я тоже не один год приятельствовал через Беттину, во всём следовала за Беттиной, а мне смотрела в рот и знала, что скучно со мною не будет. Я тоже надеялся на веселую поездку. Я очень хотел показать и той и другой это мною недавно обретенное искусство: ездить на попутках.

И мы поехали. Выехали 20 июля. Сперва всё шло неплохо. В кузовах трясло умеренно (Ванда, как самая хрупкая, садилась в кабину, когда была такая возможность), — да и что такое тряска в молодости? одно удовольствие. Без приключений мы добрались до Керчи... до Корчева, до Панти-

капая... Античность, неосязаемая под сенью татарского Коктебеля, хлынула в мою душу. Вот мы бродим среди собранных под открытым небом древнегреческих надгробий. «Евдокия, дочь Мильтиада, прощай», «Ксантипп, сын Аристомаха, прощай» — какая дивная, какая выразительная лаконичность! Вот мы перед воротами, на которых начертано *Морвокзал*, слово, согласимся, тоже выразительное, но в первую очередь *уморительное*, в нём тоже, как океан в капле воды, содержится породившая его эпоха, в которой главное — как раз отрицание античности с её высокой простотой и всечеловечностью.

Всюду пыль. Жара к полудню становится невыносимой. Жажду утолить нигде... Едва мы понимаем, что вот сейчас советская Керчь уморит нас на подступах к морвокзалу, как перед нами — оазис: пивной ларёк. Мои спутницы пива не любят, но деваться некуда. Беттина получает свою кружку вслед за хрупкой Вандой, — и вот чудо: пиво ей понравилось, понравилось впервые в жизни, зато (говорю это со знанием дела) навсегда.

Из расспросов мы выясняем, что палатку в Керчи ставить нельзя, палаточников гоняет милиция. Что делать?

— А вы езжайте на Среднюю Косу, — советуют нам.

Идём на пристань. Выясняется, что на этот остров можно добраться катером шесть раз в день (я заношу в дневник расписание), с пяти часов открывается предварительная продажа билетов, билет же стоит 30 копеек.

Коса и есть коса: одиннадцать километров в длину, 600 метров в ширину в самом широком месте; с севера Азовское море, с юга — Чёрное, на запад — Керчь, на восток — Таманский полуостров; места турецкие, половецкие, хазарские... Как решили спор об этом острове независимые Украина и Россия? Почему он отошёл к Украине?

Безлюдная коса, вся поросшая кустарником, очень хорошо подходила для бедных палаточников, но с оговоркой: кустарник всюду был колючий.

— Ничего! — бодрился я. — Нарубим веток, а сверху постелем одеяло.

Но вышло, что спать на таком ложе невозможно. Намучившись, посреди ночи мы перебрались в брошенный у берега баркас. Здесь, на том же одеяле, пусть на дереве, спалось мягче, да укрыться было нечем, мы мёрзли, — и (трудно поверить!), нашлись добрые люди, тоже из туристов с рюкзаками, которые нам одолжили до утра лишнее одеяло...

Такая удивительная тишь,

Что, кажется, по воздуху летишь
И под тобою — чаек голоса
И этот остров, Средняя Коса,
Где мы застряли между двух морей:
Сидим в Боспоре, в тех гиперборях,
Откуда греки плавали в Пирей,
Где турки русских вешали на реях...
Как даль ясна! Как вечность далека!
Полуоткрытый клювик кулика,
Нелепый, будто вымолвивший слово...
Как сладок ветер, дующий с Азова!

Сейчас я бы сказал автору этих строк, мне тогдашнему: не с Азова, это неточность; Азов, старинный Азак, — город; сладкий ветер дул в 1972 году с Азовского моря...

Сейчас я многое сказал бы автору, да нет его... или, может быть, он всё-таки есть? Не полениюсь, скажу. Ветер, скорее всего, был норд-ост. Что он сладок, это автор присочинил. Норд-ост колюч — не хуже кустов на Средней Косе, на которых сон несладок. Скажу ему, автору стихотворения, сочиненного мною 21 июля 1972 года на Средней Косе, точнее, спрошу его: не про Азовское ли море написаны в 1926 году поразительные стихи зятя Эренбурга, Бориса Лапина:

Казак-поселенец Тужилкин Сергей,
Убивший кипчака при споре,
Пробился в дощатой бударке своей
До самого синего моря.

До самого синего моря, братан,
Разлитого светлой волною,
Где ночью всплывает пудовый сазан,
В култук, озаренный луною.

Бударка бортом раздвигает волну,
Выходит в глухие заливы
И килем скользит по дремотному дну,
Где трав расседаются гривы...

Развязка в этих стихах страшная — и эти кыпчакские воды навсегда для меня привязаны к балладе Лапина, лучшему, да что там, единственному замечательному его сочинению в стихах, зато уж такому, без которого я русской антологии представить себе не могу. Одного стихотворения — достаточно... Но автор стихотворения о Средней Косе (№359) этой баллады не знает. Ещё несколько дней, и его начётническая нумерация дневниковых своих стихотворений оборвётся, оборвётся навсегда...

Неудача с палаткой на средней Косе была «голосом моей судьбы», по словам Гамлета в переводе Пастернака, — первым толчком эмбрионального будущего. Полоса удач кончалась.

На *Морвокзале* нужно было сесть на *комету*: на один из теплоходов на подводных крыльях, курсировавших между Керчью и Анапой. Пока мы сидели на причале, я вывел в дневнике номер 360, а под ним нацарапал шариковой ручкой:

Я не узнал тебя, Пантикапей!
Не угадал тебя, неблагодарен,
У берега великих эпопей,
Где Корчев Керчью окрестил татарин.

Здесь ласточки кружатся надо мной,
Над кранами, причалами и доком,
Трусливый пёс бежит к скамейке боком,
И море спит белёсою стеной.

Я не узнал тебя, мой давний бред,
Но памятью я от тебя завишу,
Я твой тревожный древний воздух вижу
И тёмных былей различаю след.

Из Анапы мы продолжали наше путешествие вдоль побережья в сторону Кавказа. В Туапсе хрупкая Ванда сдалась: взяла билет на поезд и отправилась домой, а мы с Бетиной добрались до Сухуми, где, помнится, от усталости не разбивали палатку (дело было к ночи), а спали под сенью деревьев на шерстяном одеяле, причём у меня под головой, под свитером, служившим подушкой, лежал топорик...

Судьбоносный семьдесят второй завершился для меня тем, чего и сле-

довало ожидать. Роковой выбор был сделан. С конца января 1973 года я живу уже не на Гражданке, а на Ижорской улице, на пятом этаже, в шестиметровой комнате, в бедности, с подругой, выбранной по сердечному влечению и не обманувшей моих ожиданий. Для меня произошла социализация, которая, вместе со счастьем, принесла и горести, ибо теперь уж советская власть встала передо мною во весь свой рост и засучила рукава. Стихотворный запой кончился — вот в чём была главная горечь... Но ещё когда он длился, я сочинил четверостишие пятистопным анапестом с чем-то вроде предсказания или предчувствия:

Я хотел бы дожить до две тысячи двадцать шестого,
На девятый десяток взглянуть и легко умереть
В нищете, в маете, жалким пасынком века пустого,
Кем сегодня встречаю вторую никчёмную треть.

Первая часть пожелания-оракула в главном сбылась: настоящее моё сочинение в прозе, начатое мною в 2012 году, мозаичное и беспорядочное, где всё свалено в одну кучу, я заканчиваю в июне 2026 года... — и где? не в гадостном и маятном Ленинграде, а в Британии, в графстве Хартфордшир, в городке Бoremвуде, в бедности, но не в нищете.

В оправдание моей мозаичности и беспорядочности — сошлюсь на классика. Не так ли построена и замечательная автобиографическая вещь Стендаля *Жизнь Анри Брюлара* (которая, по мне, интереснее прославивших его романов)? Совершенно так же: всё — в одной беспорядочной куче. Та же страсть к своему прошлому, та же любовь к мелочам по видимости никчёмным и никому не нужным, то же упоение эстетикой факта. И начало её перекликается с моей концовкой: «Я, Анри Брюлар, написал это в Риме с 1832 года по 1836 год».

Разумеется, Бoremвуд — не Рим (но он — предместье Лондона), и я — не Стендаль (но я всё же — не менее, чем я), однако ж эстетический подход у меня тот же, в чём и черпаю утешение.

29.06.2012–2.06.2026